

УДК 821.161.1-31Пришвин.07:81'42

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: ЕЛЕЦ В РОМАНЕ М.ПРИШВИНА «КАЩЕЕВА ЦЕПЬ»

Наталья Алексеевна Трубицина

к. филол. н., доцент кафедры историко-культурного наследия

Елецкий государственный университет

399770, Липецкая обл., г.Елец, ул.Коммунаров, 28. trubicina-nat@mail.ru

Автобиографический роман Михаила Пришвина «Кашеева цепь» анализируется в статье с точки зрения реализации в нем локального текста родного писателю уездного города. О наличии в романе определенного топосного текста свидетельствует тот факт, что автор использует несколько наиболее значимых в семиотическом отношении доминант, являющихся своеобразными идентификационными маркерами елецкого городского пространства. Две ключевые доминанты – «Елец православный» и «Елец купеческий» не только находят отражение в произведении, но и выступают в роли сюжетопорождающих контекстов.

Ключевые слова: автобиографический роман; художественное пространство; локальный текст; образ места; православный архетип.

О возможности читать пространство как текст в свое время заговорили сторонники семиотического подхода к культуре, а в литературоведении такое отношение к «образу места» закрепилось в работах В.Н.Топорова о «петербургском тексте». С этой точки зрения, всякое определенным образом маркированное пространство может влиять на структуру и семантику произведения искусства. Размышляя об этом в одной из своих работ, В.В.Абашев предлагает «измерить давление места на текст», или, иначе, проследить, «как работает в тексте имя места и его локальная семантика, то есть та система значений, которые место приобрело исторически, в процессе семиозиса» [Абашев 2004: 557]. Присоединяясь к мнению исследователя о том, что произведения исторического и автобиографического жанров несколько выпадают из «фиктивного действия» и «фиктивного пространства», тем не менее полагаем, что семантически маркированное место и в этом случае будет влиять на поэтику произведения. Потому в данной статье мы ставим перед собой задачу рассмотреть «сверхтекстовую» семантику города Ельца в автобиографическом романе Михаила Пришвина «Кашеева цепь».

В работе «Сверхтексты в русской литературе» Н.Е.Меднис подчеркивает: «Города всегда обладали некой ослабевающей или усиливающейся со временем метафизической аурой. Степенью выраженности этой ауры, как мы уже говорили, во многом определяется способность или неспо-

собность городов порождать связанные с ними сверхтексты. Именно наличие метафизического обеспечивает возможность перевода материальной данности в сферу семиотическую, в сферу символического означивания, и, следовательно, формирования особого языка описания, без чего немислимо рождение текста» [Меднис 2004]. В этой связи, в первую очередь, нам необходимо задаться вопросом, имеет ли Елец какие-либо свои метафизические смысло- и мифопорождающие контексты или этот топос можно рассматривать лишь в общих границах «провинциального текста»?

В.В.Абашев так объясняет рождение локальных текстов: «В стихийном и непрерывном процессе символической репрезентации места формируется более или менее стабильная сетка семантических констант. Они становятся доминирующими категориями описания места и начинают, по существу, программировать этот процесс в качестве своего рода матрицы новых репрезентаций. Таким образом формируется локальный текст культуры, определяющий наше восприятие и видение места, отношение к нему» [Абашев 2008: 24]. В общем, говорить о тексте города можно в том случае, если его «смыслы» и «мифы» закреплены в культурной традиции, и прежде всего в литературной.

Город Елец описан в творчестве таких известных писателей, как И.Бунин, К.Паустовский, В.Розанов, которые создавали свой «елецкий

текст» примерно в одно время с М.Пришвиным. К предшественникам автора «Кашеевой цепи», в произведениях которых упоминается Елец, можно отнести Н.С.Лескова и, отчасти, А.П.Чехова. Мы можем с уверенностью утверждать, что творчество Лескова (через посредничество Алексея Ремизова) оказало определенное влияние на становление художественного таланта М.М.Пришвина¹. Творчество А.П.Чехова также постоянно находилось в поле пристального читательского внимания автора «Кашеевой цепи», о чем свидетельствуют многочисленные дневниковые записи, и в частности следующая: «Для оживления «Домостроя» прочел Чехова «Бабы» и спросил, кому они сочувствуют, бабам или мужчинам. Из 9 деревенских учеников 6 были против баб. Насколько, значит, «Домострой» владеет еще деревней» [Пришвин 1995: 146]. Образ Ельца, представленный в творчестве Лескова и Чехова, может служить источником ряда поэтических пресуппозиций фактуального, ценностно-интерпретационного, мифолого-библейского и прецедентно-текстового планов.

Как отметил Е.Н.Эртнер, в творчестве одного и того же автора могут сосуществовать сразу две «провинции», антитетичные по своей природе: «"Просторная" провинция в этом смысле предстает в произведении как русская земля, определенное место, у которого есть свое лицо, характер и судьба. Такую провинцию уже не спутаешь с другой, у нее есть своя жизнь, динамичная, изменчивая, непредсказуемая. "Земля" и "край" властно заявляют о себе и способны стать действующим лицом, рассказать о котором уже не удастся, цитируя Гоголя» [Эртнер 2005: 46]. Лесков, определение которого провинции как «ямы» стало таким же расхожим штампом, как выражение «вселенская щель» Салтыкова-Щедрина, дает нам образ и другой, «просторной» провинции, в представлении о которой образ Ельца, на наш взгляд, играет не последнюю роль. Особенно показателен в этом отношении лесковский рассказ «Грабеж».

В «Грабеже» Лесков устами дяди героя, ельчанина Ивана Леонтьевича, сопоставляет провинциальные города – уездный Елец и губернский Орел: «У всех одно положение: Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу, а Елец – всем вора́м отец», а впоследствии и противопоставляет их: «У вас и город-то не то город, не то пожарище – ни на что не похож, и сами-то вы в нем все как копчушки в коробке заглохли! Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губерньские. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего,

так вы и то ценить не можете» [Лесков 1989: 182].

Так Н.С.Лесков, обращаясь к феномену елецкого мира, опирается на фольклорную, идущую из глубины веков традицию, которая составляет мифолого-библейскую пресуппозицию «елецкого текста». Присловья «Елец – всем вора́м отец» и «Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок» уходят корнями далеко в прошлое. Первая поговорка родилась одновременно с присловьем «С Дона выдачи нету» и означала свободолюбие, особую гордость ельчан, так как вор здесь не разбойник и грабитель, а беглый крестьянин, обретший в Ельце вторую родину: «У вас губернатор правила уставляет, а у нас губернатора нет – вот мы зато и сами себе даем правило» [там же: 186].

Особые отношения связывают Елец с Москвой. Упомянутый в летописи годом раньше (1146 г.), Елец воспринимал столицу как «старший брат», обязанный грудью стать на ее защиту. Такое случалось не единожды, что нашло отражение в другой поговорке: «В Ельце били всех – от Тамерлана до Гудериана». О немецком главнокомандующем Гудериане Н.С.Лескову (да и Пришвину в период написания романа) было, естественно, ничего не известно, а вот легенда о нашествии на Русь Тамерлана имплицитно присутствует в обозначении Ельца как святого места, некоего сакрального центра. «Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался. <...>

– Умер?

– Нет. Купцы не допустили: лекаря наняли. Наши купцы разве так бросят? Лекарь говорит: может еще на поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели, а себе здесь должны выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего.

– А это кто же ваш первый прихожанин и куда он отъехал?

– Наш первый прихожанин называется Павел Мироныч Мукомол. На московской богачихе женат. Целую неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен и службу всякую церковную лучше протодьякона знает. Затем его все и упросили: поезжай, посмотри и выбери; что тебе полюбится – то и нам будет любо. Его всяк стар и мал почитает. И он при огромном своем капитале, что три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался и для церковной надобности все оставил и полетел» [Лесков 1989: 181].

Здесь Лесковым выявляется сразу несколько составляющих особого елецкого менталитета – гордость купеческим сословием и особая приверженность православной вере. «У елецких храмов было много дарителей и попечителей. Один из богатейших купцов Ельца – А.Н.Заусайлов – навеки прославил себя строительством ансамбля, состоящего из Дома Призрения и церкви во имя святых благоверных князей Михаила Тверского и Александра Невского. Построили церковь за 1 год и 3 месяца. Цветные витражи керамического иконостаса, ажурные Царские врата из чистого серебра, серебряный престол, крест из хрусталя, внутри которого бурлили и переливались пузырьки, вырабатываемые электричеством, – все являло собой поразительную гармонию. Рассказывают, что купец Заусайлов просил разрешения у Николая II выложить пол золотыми пластинами 100 x 50 x 5 мм, а Царь пошутил: “Только не плашмя клади, а на ребро”» [Борисова 2010]. Но особую гордость Ельца составляет Вознесенский Собор, спроектированный известным архитектором Константином Тоном (он же спроектировал Храм Христа Спасителя в Москве). Строили собор 44 года, освятили в 1889 г. 220 стенных росписей выполнили русские художники-передвижники А.И.Корзухин и К.В.Лебедев.

По легенде, после очередного разорения города «дотла» место новой застройки (где и стоит сейчас собор) указал ельчанам святитель Алексей, митрополит Московский, направляющийся в 1357 г. в орду к хану Чанибеку. В 1380 г. князь Федор Елецкий под знаменами князя Дмитрия Ивановича Московского храбро сражался с полчищами Мамай на поле Куликовом. А в 1395 г. войска монгольского хана Тамерлана (Тимура) в очередной раз сожгли Елец, но дальше на Москву не двинулись, а повернули назад. Православная церковь видит в этом чудесное заступничество Богородицы. В то время из Владимира в Москву была перенесена икона Владимирской Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Как следует из легенды, под Ельцом Богородица явилась Тамерлану во сне с бесчисленным небесным войском, и «вниде страх в сердце его и ужас в душу его, вниде трепет в кости его», и непобедимый полководец бежал, «аки некими гоним быша» [Повесть о Тимир-Аксаке 1981: 240]. Так возник региональный культ Елецкой Божией Матери – покровительницы города.

Бежал Тимур, трясась от страха,
Десницей Божией гоним;
Елец возник давно из праха,

И русский стан неодолим.
Доселе в памяти народной
Живет то чудо из чудес;
И славит сын Руси свободной
Царицу светлую небес.

Это стихотворение принадлежит перу ельчанина Е.И.Назарова (1848-1900), участника суриковского кружка поэтов-самоучек, о творчестве которого была написана первая критическая статья И.А.Бунина и которого Бунин считал своим учителем.

Закреплению за Ельцом образа «святого места» способствовало именование его святителем Тихоном Задонским («вторым Сионом»). В книге А.Воскресенского «Город Елец в его настоящем и прошлом. (Опыт исторического очерка)», напечатанной в 1911 г. в елецкой типографии газеты «Голос порядка», описывается взаимная привязанность святителя Тихона и ельчан: «И ельчане очень любили св. архипастыря. При его отъездах в Задонск толпы народа провожали его за р. Сосну, несколько раз стремясь под его святительское благодатное благословение. Отъехав версты три от города, св. Тихон поклонялся городским церквам, и, остановив подводу, спрашивал зачастую келейника: “Что за город позади?” – “Елец”, – говорил проводник. – “Нет не Елец, – любовно возражал святитель, – а Сион-новый, Божие жилище”, – намекая на обилие благоукрашенных елецких храмов с обителями Св. Троицы и Знамения Пречистой» [Елецкая была 1999: 59].

По-особому характеризует купеческий Елец фраза Нины Заречной из чеховской «Чайки»: «Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!» [Чехов 1978: 56]. Как отмечает Н.Н.Комлик, «чеховская героиня едет в город, где живет и ходит в театр образованное купечество. А это в корне меняет и представление о русской провинции как замшелом, захолустном культурном пространстве и о купеческо-мещанском классе как диком, малообразованном, живущем исключительно запросами материально-телесного низа» [Комлик 2009: 41].

Таким образом, мы можем констатировать формирование в литературе «елецкого текста», связанного с мифологизацией и концептуализацией ряда историко-культурных городских доминант. В первую очередь, это – «Елец купеческий» и «Елец православный» («Елец – новый Сион»). Следует отметить, что в нашей работе предпринимается лишь первая попытка определить пропозиционный, «апперцепционный фонд» «елецкого текста». Автор отдает себе от-

чет в том, что «в этом аспекте большое значение имеют факторы мировоззренческих допущений, аксиологической ориентации ученого, которые во многом определяют его индивидуальную установку на предмет описания и способы интерпретации» [Лошаков 2008: 17]. Тем не менее в качестве «максимальной смысловой установки» (В.Н.Топоров), которая скрепляет «елецкий текст», мы выделяем идею Ельца как православного центра, города углубленной духовной культуры. Идея эта уходит своими корнями в мифологические предания, связанные с рождением города, ведущего свое название, по одной из версий, от Елецкого монастыря на Черниговщине.

Роман М.М.Пришвина «Кашеева цепь» относится к числу художественных автобиографий. В основу произведения положено описание становления личности главного героя Михаила Алпатова в предреволюционную эпоху. Жизнь Курымушки-Алпатова – это, по словам Пришвина, «медленно, путем следующих одна за другой личных катастроф, нарастающее сознание» [Пришвин 1982: 639]. Нельзя не заметить, что образ героя в романе несколько возвышен и романтизирован автором. Сам писатель неоднократно подчеркивает, что создает миф, «сказку – и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую» [Пришвин 1982: 8]. Для нас важно также следующее замечание Е.Н.Эртнер: «В романе Пришвина повествование ведется от лица “автобиографического героя”. Его сознание представлено: “натуральным человеком” и маленьким поэтом Курымушкой, “автором” “Кашеевой цепи” начала Октябрьской революции; “автором”, перерабатывающим роман в 1954 г. (главы “От автора”). “Игра” авторского “голоса” позволяет одно и то же место оценить с разных сторон. Имя автобиографического героя также варьируется в тексте: “Пришвин”, “Алпатов”, “Курымушка”, “автор”. Писатель разделяет в своем повествовании переживание момента, эмоциональное впечатление (чаще всего в период детства) и его оценку, философское осмысление (как правило, взгляд с высоты времени). Давнее продолжает жить в художественном опыте автора, оно творится заново здесь и сейчас» [Эртнер 2005: 136].

Елец у Пришвина неизменно упоминается с определением “родной”»: «В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные» [Пришвин 1982: 9], – так начинается первое звено романа «Кашеева цепь». В Берлине Алпатов заговаривает с прусским офицером: «– Вы из Москвы? – с интересом спросил офицер.

– Нет, – ответил Алпатов, – моя родина Елец» [Пришвин 1982: 264].

«Провинциальность» не заявляется открыто; она как бы «скрытое», имманентное качество города, обнаруживающееся лишь в сопоставлении с другими городскими текстами – петербургским и европейским (германским). Об особом качестве города как провинции мы узнаем из речи елецкого сотрудника охранного отделения полиции, сопровождающего «невъездного» Алпатова в Петербург к невесте: «За чемоданчик не извольте беспокоиться, я вас душевно понимаю, я доложу только, что вы ездили на свидание с невестой, и там это даже понравится, в провинции у нас совсем не как в столице, у нас тут по-семейному, кровь-то все-таки родная» [там же]. Это взгляд изнутри; для фискала-красноярца провинция – родная земля, образ с положительной коннотацией; для едущего в Петербург (т.е. почти петербуржца) Алпатова это образ «вселенской щели», засасывающей в себя любыми доступными средствами.

Как подчеркивает И.А.Разумова, «быть провинциалом и считать себя провинциалом – это совершенно разные вещи» [Разумова 2000: 43]. В «Кашеевой цепи» взгляд на родной город как на «захолустье», «глухую провинцию» еще раз дается глазами юноши Алпатова, студента Лейпцигского университета: «Ректор вызывает его из толпы студентов:

– Господин Алпатов из Ельца!

Среди студентов некоторые были с разноцветными ленточками на груди, с золотом штыми шапочками в руках, с рубцами на лицах от дуэльных ударов; в немецкой речи ректора постоянно проскакивали латинские слова, тут современность явно соприкасалась по традиции со средними веками, и вдруг в такой обстановке такие слова: из Ельца! Молодой человек, совершенно такой же приличный, как и европейские студенты, идет по длинному ковру к ректору. Но ему из-за этого Ельца представляется, что он не такой, как другие, что на него все смотрят с особым вниманием и думают: “Вот они какие в Ельце”.

<...>

Потом ректор просто, чтобы не молчать, спросил:

– Из Ельца?

Но Алпатову представилось, будто ректор спросил: “Неужели же вы из Ельца?” – и что глаза ректора насмешливо уменьшились, и что сейчас последует вопрос: “Как же это вы добрались сюда из Ельца?”» [Пришвин 1982: 319].

Однако, как только город предстает с точки зрения маленького «поэта Курымушки»

(Е.Н.Эртнер), провинция раскрывается в своей противоположной ипостаси, несмотря на наличие амбивалентных коннотаций. Для Курымушки не стоит вопрос, «провинциал ли он?» – ведь других (столичных, заграничных) мест герой еще не знает.

Непосредственное знакомство Миши Алпатова с Ельцом происходит во втором звене, озаглавленном «Маленький Каин». Открытая библейская аллюзия в свернутом виде эксплицирует сразу несколько зашифрованных смыслов. Во-первых, в имени Каина имплицитно присутствует городская доминанта. Каин как создатель первого города на Земле воспринимается в качестве основоположника цивилизации, в основном западной. Однако главная экспликация имени Каин – это первый грешник, братоубийца. Бог наказывает его проклятием: «...ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт 4: 12). Поэтому фраза в устах учителя географии (прототип В.В.Розанов) «Ты – маленький Каин» иницирует тему изгнанничества и дальнейшего скитальчества главного героя, а также высвечивает религиозную доминанту городского архетипа.

На наш взгляд, визуальная составляющая елецкого топоса у Пришвина достаточно ярко эксплицирует «Елец православный» как главную составляющую «елецкого текста»: «Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: «В городе звон». Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе. <...> Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: «Это старый собор». Показались Покров, Рождество и, наконец, Острог – тоже церковь; среди зеленых садов покраснели крыши; сказали: «Вот и гимназия!» <...> возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто почти ему не подавал, а он все звонил и звонил. В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал перед Курымушкой собор...» [Пришвин 1982: 58].

Заметим попутно, что в бунинской «Жизни Арсеньева» первая встреча юного героя с Ельцом также тесно связана с городским архитектурно-храмовым комплексом: «Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущелье из огром-

ных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стеклов, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса» [Бунин 1994: 9].

Пользуясь термином Ю.М.Лотмана, отметим, что Елец и у Бунина, и у Пришвина трактуется как город концентрического типа: «Концентрическое положение города в семиотическом пространстве, как правило, связано с образом города на горе (или на горах). Такой город выступает как посредник между землей и небом, вокруг него концентрируются мифы генетического плана (в основании его, как правило, участвуют боги), он имеет начало, но не имеет конца – это “вечный город”» [Лотман 1984: 33]. По этой модели, например, строится образ города Юрятина в романе Пастернака «Доктор Живаго» [Абашев 2010]. В подобный «вечный город», как «блудный сын», будет постоянно возвращаться пришвинский герой.

Первая главка второго звена, действие которой разворачивается в Ельце и дается в основном глазами Курымушки, называется «Архиерей». Помимо визуальной составляющей городского пространства, представленного храмами, здесь акцентируется и православная основа мировоззрения населяющих Елец жителей. «Тут на соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.

– Необходимо свидетельство о говении, – говорила тетушка Калиса Никаноровна. – Неужели он у тебя еще не говел?

– Не говел. Какие у него грехи, вот еще глупости!

– Ну, да, конечно, ты – ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут. Веди сегодня ко всеобщей, сговоришься с попом: он как-нибудь завтра его исповедует» [Пришвин 1982: 58].

Здесь коренная ельчанка, купчиха Калиса Никаноровна, вступает как бы в скрытую полемику с матерью Курымушки. Мать, Мария Ивановна, родом из города Белева, происходила из старинной старообрядческой семьи. Постепенно семья признала господствующую конфессию, но, тем не менее, елецкую тетушку Мария Ивановна за глаза называет «ретроградной», а та, в свою очередь, именуется мать «либералкой».

И.А.Есаулов придерживается мнения, что «литургический вариант Священного Писания

изначально доминирует в русской традиции над его книжным текстом. Освоение Нового и Ветхого Заветов для русского православного человека совершалось не столько посредством индивидуального чтения духовных произведений (хотя этот фактор, разумеется, переоценить невозможно), сколько как раз личным участием в православном соборном богослужении, которое и сформировало особую поведенческую структуру, особый православный менталитет» [Есаулов 1995: 268]. Вхождение маленького героя в елецкую городскую культуру начинается именно с посещения православного храма.

Вечером и утром приходит Миша Алпатов с матерью в собор и оба раза попадает в комические ситуации: первый раз, потеряв мать в толпе, он идет справляться о ней к священнику в алтарь, за что и был прозван «архиереем»; и второй раз, на исповеди, когда отвечает на все вопросы заученной фразой «грешен, батюшка». Не исключено, что прибегая в этих ситуациях к юмору, Пришвин старается отвести внимание атеистически настроенного советского читателя от глубокой православной составляющей мирской жизни уездного города.

Несмотря на то что открыто выступить адептом христианства автор по цензурным соображениям уже не мог, он нашел мотивированную точку зрения – мировоззрение ребенка и таким образом обозначил свое отношение к православному богослужению: «Даже и в соборе это не успокоилось, – напротив, тут уже совсем разбежались глаза – столько людей! И между ними дорога малиновая уходит к золотым воротам, слышится оттуда ангельское пенье, и батюшка в золотой ризе копаются над чем-то. Чудесно!» [Пришвин 1982: 58]. Здесь ощущается глубинная семантика красоты православного храма с его роскошным золотым фоном, усиленным ярким, малинового цвета пятном.

Вливаясь в новую гимназическую жизнь, герой искренне старается проникнуться открывшимся ему православным, «соборным» мироощущением. В пустом храме, где «только черные старушки в мантильках с гарусом впились кое-где глазами и сердцем в иконы», Курымушка «стал, подражая старушкам, так же впиваться в иконы» [там же: 59]. Доминантным, на наш взгляд, здесь является слово «сердцем», что выявляет саму суть соборного общения с Богом.

Подчеркивается и значимость для христианина православной молитвы. Свою любимую молитву – «Господи, милостив буди мне, грешному» – шепчет Курымушка, когда священник заставляет его «положить двенадцать поклонов» за то, что он нечаянно входит в алтарь. Но особую

силу маленький герой чувствует в разрешительной молитве перед причастием, которая дает возможность «еще пожить на белом свете» [Пришвин 1982: 59].

Так, с самого начала жизни в Ельце Мише Алпатову приходится соприкоснуться с православной городской культурой. Соборный батюшка, который посчитал «проникновение» Курымушки в алтарь добрым знаком («Он у вас еще архиереем будет»), представлен в романе служителем, от которого исходит особый свет, свет благословляющий, дающий надежду на благополучие. Он добр к мальчику, а заметив смущение матери за неправильное поведение Курымушки во время службы и исповеди («притаил двугривенный»), старается ободрить и ее:

«– Ничего, ничего, бог простит, – ответил батюшка, поглаживая его по голове, – и смотрите еще – он у вас архиереем будет» [там же: 61].

Несмотря на приверженность православию, жители Ельца продолжали держаться многих языческих пережитков, предрассудков и суеверий. Еще были сильны святочные, весенние, купальские и иные древние культы. Простонародный мифический космос в системе двоеверия мирно соседствовал с христианской культурой. Гимназист Алпатов наблюдает следующий разговор елецких мещанок: «Первая старушка сказала:

– Пост пополам хряпнул!

Вторая ответила:

– Коты на крыши полезли.

Первая сделала вывод:

– Значит, месяц остался до полой воды» [там же: 95].

Особую роль в жизни города и судьбе Пришвина-Алпатова играла гимназия. Именно из нее был совершен побег в «небывалое» из царства несвободы: «От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шепотом передавалось из уст в уста, что поехали именно в Азию. <...> Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию, ну а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо, и отчего бы им и не доехать до Азии. Все спавшие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны» [там же: 75].

Поведение гимназических надзирателей, которые узнали о побеге гимназистов на лодке по реке «в Азию», прочитывается в рамках православного архетипа: «Гимназисты всех классов видели, как Заяц и Обезьян в своих синих вицмундирах вертелись около громадного грузного человека, будто они были бумажные, долго ему

что-то рассказывали и просили ни в коем случае *не применять оружия* (курсив наш. – Н.Т.)» [Пришвин 1982: 74]. Соответственно и действия «громдного человека», станового Крупкина, не вписываются в традиционную модель поведения жандарма. Поймав беглецов, он не то что их не ругает и не арестовывает, но устраивает с маленькими преступниками пикник на берегу реки, стреляет уток, угощает водкой и, между прочим, рассказывает, что его самого из шестого класса гимназии выгнали.

«– Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?»

– Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем – и спать, а утром вы по домам, и будто *сами пришли и раскаялись*» (курсив наш. – Н.Т.) [там же: 82].

Приобщившись в гимназии к позитивизму через посредничество старшеклассника Ефима Несговорова, организовавшего в дальнейшем в городе марксистский кружок, Михаил Алпатов попадает под влияние атеистического мировоззрения. Апостасийные настроения нарастают в нем с каждым гимназическим годом; растет неприязнь к учителям, которые в глазах подростка все обманщики: «Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:

– Смотри!

– Нет, ты смотри!

– Господь тебя покарает!

– А из тебя на том свете черт пирог испечет.

Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обманывают богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше, – значит, их всех обманывают?»

«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» – спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его достанешь?..

«Козел виноват!» – сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель» [там же: 91].

Козел – гимназическое прозвище учителя географии. Прототипом стал В.В.Розанов³, по докладной записке которого Пришвина исключили из Елецкой гимназии с «волчьим билетом»⁴. В романе писателем дается художественная интерпретация этого важнейшего в его жизни события, «коренной неудачи», последствия которой Пришвин преодолевал всю жизнь: «Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При

этом звуке Козел тихонечко и быстро переkreстился.

Алпатов встал.

– Тебе что?

– Пост пополам хряпнул.

– Ну, так что?

– Коты на крыши полезли.

– Что ты хочешь сказать?

– Значит, месяц остался до полой воды.

Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал» [Пришвин 1982: 97].

В рамках художественной логики романа ссора ученика и учителя интерпретируется как столкновение нравственной чистоты Курымушки и «безнравственности» (с точки зрения Алпатова) его любимого наставника. «Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.

– Вон вы опять дрожите, невозможно сидеть.

– Вон, вон! – кричал в бешенстве учитель.

Тогда Алпатов встал бледный и сказал:

– Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, может быть, я убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине, и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

– Ты – маленький Каин! – прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.

– Козел! Козел! – крикнул ему в спину Алпатов» [там же: 97].

На протяжении всей жизни испытывал Пришвин сложные чувства «притяжения-отталкивания» к своему гимназическому учителю Розанову. Вписанные в романе в парадигму христианской этики, эти отношения, на наш взгляд, претерпевают определенное «давление места». Пришвин, безусловно, знал о сложных отношениях Розанова с христианской церковью вообще и с православием в частности. Но в Ельце гимназический учитель просто не может вести себя иначе. Поэтому Алпатов – «маленький Каин», исключенный из гимназии и вынужденный покинуть Елец.

Подводя некоторые итоги, мы можем констатировать, что образ провинциального Ельца задается в романе «Кашеева цепь» совокупностью образов-символов, идей-концептов, мифов, формирующихся на основе базовых ценностей культурного бытования города, в частности на его религиозной составляющей. О наличии в романе определенного топосного «текста» свидетельствует тот факт, что автор использует несколько наиболее значимых в семиотическом отношении

доминант, являющихся своеобразными идентификационными маркерами елецкого городского пространства. Две ключевые доминанты городского текста – «Елец православный» и «Елец купеческий» не только находят отражение в указанном произведении, но и выступают в роли сюжетопорождающих контекстов.

Примечания

¹ Запись в дневнике от 8 сентября 1922 г.: «Каждый удивится, если сказать: школа Леонида Андреева, Мережковского, а Ремизовская школа – всякий поймет, есть такая школа Лескова-Ремизова» [Пришвин 1995: 269].

² В соответствии с концепцией романа его части названы звеньями.

³ См. подробно о взаимоотношениях Розанова и Пришвина в кн.: *Подоксенов А.М.* Михаил Пришвин и Василий Розанов: мировоззренческий контекст творческого диалога. Елец; Кострома, 2010. 395 с.

⁴ Быть выгнанным с «волчьим билетом» означало лишение права учиться еще в какой-либо гимназии.

Список литературы

Абашев В.В. «Люверс родилась и выросла в Перми...» (место и текст в повести Бориса Пастернака) // *Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты.* М., 2004. С.561–591.

Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX в. Пермь, 2008. 399 с.

Абашев В.В. Пастернаковский город Юртин: география, семиотика и прагматика романного образа // *Вестн. Том. гос. пед. ун-та.* 2010. Вып.8(98). С.115–121.

Борисова Н.В. На окраине русских владений. 2010. URL: http://ivanbunin.ru/index.php?option=com_content&view (дата обращения: 11.12.2011).

Бунин И.А. Жизнь Арсеньева // *Собр. соч.:* в 6 т. М.: Сантакс, 1994. Т.5. 477 с.

Елецкая быль. №8. Елец, 1999.

Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. 287 с.

Комлик Н.Н. И.А.Бунин и театральные традиции русской провинции // *И.А.Бунин и русский мир: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 75-летию присуждения Нобелевской премии писателю.* Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2009. С.36–42.

Лесков Н.С. Грабеж // *Собр. соч.:* в 12 т. М.: Правда, 1989. Т.5. 512 с.

Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // *Семиотика города и городской культуры.* Петербург: тр. по знаковым системам. XVIII. Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 664. Тарту, 1984. С.30–45.

Лошаков А.Г. Сверхтекст: семантика, прагматика, типология: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Киров, 2008. 48 с.

Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. 2004. URL: <http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=35&id=5> (дата обращения: 11.12.2011).

Повесть о Темир-Аксаке // *Памятники литературы Древней Руси.* XIV – середина XV века. М., 1981. 606 с.

Пришвин М.М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920–1922 гг. М.: Моск. рабочий, 1995. 334 с.

Пришвин М.М. Кащеева цепь // *Собр. соч.:* в 8 т. М.: Худож. лит., 1982. Т.2. 679 с.

Разумова И.А. «Как близко от Петербурга, но как далеко» (Петрозаводск в литературных и устных текстах XIX–XX вв.) // *Русская провинция: миф – текст – реальность.* М.; СПб., 2000. С.291–298.

Чехов А.П. Чайка // *Собр. соч.:* в 30 т. М.: Наука, 1978. Т.13. 614 с.

Эртнер Е.Н. Феноменология провинции в русской прозе конца XIX – начала XX века. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2005. 212 с.

PROVINCIAL TEXT: YELETS IN THE NOVEL “KASHCHEYVA TSEP” BY MIKHAIL PRISHVIN

Nataliya A. Trubicina

**Reader of Historical and Cultural Heritage Department
Yelets State University**

In the paper the autobiographical novel "Kashcheeva tsep" ("Kashey's chain") by Michael Prishvin is analysed in terms of implementation of the local text of the native to the author city in it. The fact that the author uses some most significant in the semiotic respect dominants, which are peculiar identification markers of Yelets urban space, proves that the novel contains the local text. Two key dominants of the local text – "Yelets Orthodox" and "Yelets Merchant" – are not just reflected in the work, but function as plot producing contexts.

Key words: autobiographical novel; art space; local text; image of location; Orthodox archetype.